

ГОЛОСЪ ЖИЗНИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЪ

Петроградъ.

№ 4

21 января 1915 г.

О БО ВСЕМЪ,

Три дня.

Государственная Дума созывается на масляной.

Сессія кратковременная. Продолжится всего три дня.

Естественно, при такихъ условіяхъ дѣловая часть сессіи сосредоточится въ бюджетной комиссіи, которая начала свои занятія 7-го января.

Чему же будутъ посвящены краткіе дни сессіи?

Въ такой короткій срокъ пренія по бюджету не могутъ развиваться во всей полнотѣ. Да врядъ ли такія пренія и умѣстны. Не такое теперь время, чтобы на глазахъ всего міра критиковать наши финансы.

Не критика теперь нужна, а творчество.

Разумное, сознательное, безъ выкриковъ, съ ясно намѣченной цѣлью

Дѣло нелегкое. Руководящіе круги парламентскихъ партій сознаютъ трудность и отвѣтственность задачи.

Особенно затруднительно положеніе оппозиціи. Ходила даже слухи, что наша „отвѣтственная“ оппозиція, т. е. кадеты, намѣрены отказаться отъ всякаго выступленія, ограничивъ свою роль энергичнымъ участіемъ въ работахъ бюджетной комиссіи. Кажется, этотъ планъ оставленъ. Поживемъ, — увидимъ.

Одно можно сказать: и помимо „критики“ есть о чемъ поговорить.

Благополучное окончаніе войны, такова главная задача Россіи и русскаго общества. Безъ лукаваго мудрствованія, русское общество съ самыхъ июльскихъ дней вовлечено въ войну, приложило все свои силы къ этому тяжелому народному дѣлу. И конечно достигнутые арміей успѣхи во многомъ зависятъ отъ нравственной и матеріальной поддержки общества.

Народнымъ представителямъ надлежитъ отмѣтить роль общества въ войнѣ и всячески содѣйствовать дальнѣйшему развитію общественной работы на этомъ поприщѣ. Все, что мѣшаетъ достиженію конечной цѣли, все, что препятствуетъ дальнѣйшему развитію общественныхъ силъ, должно быть устранено.

Дѣло народныхъ представителей — намѣтить пути дальнѣйшей общественной работы, которая, благодаря длительности войны, становится все настоятельнѣе.

Организация хозяйственныхъ силъ страны, координація ея творческой энергіи, поддержка здоровой бодрости въ широкихъ слояхъ населенія — таковы основныя лозунги момента.

Занятое тяжелой, непрерывной работой „устроенія“, русское общество въ данное время молчитъ, твердо уповаю, что

его избранники поймутъ глубокий внутренній смыслъ такого молчанія „не за страхъ, а за совѣсть“, найдутъ нужныя и подходящія слова, чтобы со всей авторитетностью выразить пожеланія общества.

Марѳа и Марія.

Русская интеллигенція искони тяготѣла къ Маріи. Повседневный, хозяйственный трудъ Марѳы не возбуждалъ ея симпатій. Интеллигенція всегда думала объ „единомъ на потребу“. Благодаря этому она заслужила упрекъ въ отвлеченности, нежизненности.

Современныя событія выдвинули на первый планъ дѣло Марѳы. Понадобилась неустанная, черная работа устроенія. И надо отдать справедливость нашей интеллигенціи, она эту задачу сразу усвоила, энергично пошла по пути Марѳы.

Недавно въ большомъ залѣ Вольнаго экономическаго общества происходили трехдневныя пренія о финансовомъ положеніи Россіи. „Пессимисты“ остались недовольны. Имъ показалось, что Марія забыта, что слишкомъ торжествуетъ Марѳа.

То же произошло на курортномъ съѣздѣ, гдѣ говорили объ очень прозаическихъ вещахъ. И здѣсь какъ будто забыли Марію.

Но это невѣрно.

Русская жизнь развѣдила евангельскихъ сестеръ. Особенность настоящаго момента въ томъ и состоитъ, что развѣдены этому положенію конецъ. Пусть теперь торжествуетъ Марѳа. Несомнѣнно, что, пойдя по пути устроенія, она стремится къ Маріи.

Никакая идея никогда не восторжествуетъ, не воплотится, если будетъ брезгать устроеніемъ матеріи. Марѳа не мѣшаетъ, а помогаетъ торжеству Маріи.

В. В. Стрѣльская.

За недѣлю до кончины Стрѣльская писала своей ровесницѣ, бывшей артисткѣ. Разбитая параличемъ, она трогательно жаловалась на то, что ей не придется больше выступать на сценѣ — нея отнялся языкъ. Она тосковала, что разсталась съ театромъ въ нелюбимой роли: если-бъ знала, что играетъ въ послѣдній разъ, она выбрала бы Островскаго.

Такъ прощалась съ жизнью душа артистки. Предъ смертью она помнила только театръ, свою вѣчную разлуку съ нимъ. И жаль ей было не жизни, не той чудесной идилліи, которою она окружила себя въ Лиговѣ, среди много-

численной и нѣжно любимой семьи,—ей жаль было настоящей своей жизни—театра. Смерть даетъ послѣднее завершение личности человѣка и, чтобы понять человѣка, надо знать, какъ онъ умиралъ. Стрѣльская умирала съ послѣднею мечтою о театрѣ, съ послѣднею любовью къ театральнымъ своимъ воплощеніямъ. Смерть отняла у нея радость жить душою тѣхъ, кого она создавала на сценѣ, смерть лишила ее счастья слиянія съ тысячами зрителей, любившихъ ее изъ зрительнаго зала. Стрѣльскую именно любили, какъ лично близкую, лично нужную, потому что играла она молитвенно, игрѣ отдавая все, что было въ ней лучшаго.

Многіе теперь вспоминаютъ, какъ утомляла себя Стрѣльская, играя лѣтомъ въ дачныхъ театрахъ и зимою въ свободные дни уѣзжая играть въ провинцію. Разсудительные люди находятъ, что это было неосторожно, что надо было беречь себя. Но Стрѣльская не могла не играть, не могла, пока жива, отказываться отъ настоящей своей жизни. Она любила роль старой купчихи въ „Цѣнѣ жизни“ и часто выбирала ее для своихъ гастролей. Изъ ничтожныхъ, случайно нанизанныхъ словъ она неожиданно создавала незабываемый образъ безхитростной старушки, жестокой и доброй вмѣстѣ съ тѣмъ. Когда сынъ, въ финалѣ пьесы, называлъ ее послѣднимъ могикианомъ, „столпомъ“, и Стрѣльская, шутливо разводя руками, кланялась въ поясъ, публика невольно аллодировала, думая о русской сценѣ, столпомъ которой до послѣднихъ дней оставалась чудесная артистка.

Сила таланта Стрѣльской была въ необычайной ея душевности, въ любви, которую она чувствовала къ каждому своему творенію. Понять значить простить, и Стрѣльская, чутьемъ понимая всякую человѣческую душу, дарила ее своимъ творческимъ прощеніемъ и, проводя ее сквозь свою ясную душу, раскрывала подлинныя причины ея ошибокъ и заблужденій. Къ жестокимъ, злымъ, тупымъ и невѣжественнымъ она вызывала жалость и снисхожденіе—не вѣдаютъ, что творять. Никого не осудила Стрѣльская за долгую свою жизнь на сценѣ, всѣмъ нашла оправданіе ея добрая, творчески чуткая душа. Домна Пантелеевна въ „Талантахъ и поклонникахъ“, невольно толкающая свою дочь на путь житейскихъ выгодъ, такъ полна неотразимой мечты о плавающихъ на пруду лебедяхъ и красотахъ сельской жизни, что зритель, слушая обаятельно ласковый голосъ Стрѣльской, любяся ея дѣтскою радостью, самъ увлекался ея мечтою и забывалъ о холодномъ осужденіи. Это была лучшая и самая характерная для Стрѣльской роль, въ которой полнѣе всего отразилось очарованіе ея личности, прелесть ея творческой любви къ людямъ. Если въ дѣятельности каждаго художника надо искать одухотворяющую всѣ его созданія общую идею, то въ сценической жизни Стрѣльской такой основной идеей была любовь. Любовь къ людямъ подсказывала ей мягкую ласковость интонацій, особую уютность ея движеній, придавала неотразимую убѣдительность ея сценическимъ образамъ. Милыя свахи и купчихи Островскаго, нянюшки и старушки, созданныя ею, неотдѣлимы въ воображеніи отъ Стрѣльской. Вѣрный инстинктъ любви помогалъ ей правильно угадать сущность роли. Лиза въ „Горѣ отъ ума“, лишь недавно „открытая“ художественнымъ театромъ, была крѣпкою дѣвкою въ первыхъ созданіяхъ Стрѣльской. Субретки и ивженю, когда-то созданныя Стрѣльской, доходятъ теперь до насъ по воспоминаніямъ и отзывамъ современниковъ ея первой побѣды въ 1857 году на дебютѣ въ роли пансіонерки въ пьесѣ В. Александрова „Картинка съ натуры“ и свидѣтелей ея дальнѣйшихъ успѣховъ на казенной сценѣ.

Стрѣльская не примыкала ни къ какимъ школамъ. Ея

школой были любовь и безграничная доброта къ людямъ. И ее любили искренне и просто. Въ этой любви сливалось восхищеніе чудеснымъ ея дарованіемъ и восхищеніе чудесной ея душой.

Хорошо нынче писать.

Можно написать цѣлое изслѣдованіе о вредномъ вліяніи современной газеты на языкъ. Вѣчная спѣшка, вынужденная краткость „газетчиковъ“ заставляетъ пренебрегать стилемъ, иногда—увѣ!—въ ущербъ грамотности. Но въ краткости, въ спѣшкѣ есть хорошая сторона. Въ многоглаголаніи нѣтъ спасенія, нѣтъ такой мысли, которую нельзя было бы высказать въ немногихъ строкахъ. Поэтому многое газетѣ прощается. Лучше краткая некорректность стиля, нежели многоглаголаніе.

Но что сказать, когда газета, вопреки прямому своему назначенію, допускаетъ на своихъ страницахъ безграмотность *многорѣчивую*? Когда скука и болтливость не искупаются хорошимъ стилемъ?

Въ номерѣ отъ 12-го января „Рѣчь“ помѣстила отчетъ о спектаклѣ „Литературнаго фонда“. Отчетъ въ двѣсти строкъ! почти фельетонъ!

Ну, что-жь! О первомъ представленіи пьесы Лермонтова стоить поговорить подробно и *литературно*.

Но, Боже мой, какую „литературу“ навелъ рецензентъ почтенной газеты!

Читаешь—читаешь—ничего не понимаешь.

Судите сами! Образчикъ номеръ первый:

Монологи Александра Радица, въ самомъ текстѣ которыхъ, по временамъ будто бы и слегка наивномъ, чувствуется мучительная раздвоенность лермонтовской души,—обостренность и безпоощадность сознанія, озирающаго со стороны все пережитое и переживаемое, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизсякающая сила боли, страсти, тоски и гнѣва—требуютъ для исполненія на сценѣ не только высокаго искусства, но и необычайной проникновенности.

Надо разъ десять перечитать, чтобы понять. Но кто же *перечитываетъ* театральную рецензію?

Вотъ образчикъ номеръ второй:

Блѣдная, словно затрудненная сценическимъ волненіемъ любителя читка г. Константинова дѣлала особенно замѣтнымъ налетъ нѣкоторой расщепленности, и чрезмѣрной, не счищенной въ процессѣ художественной обработки «литературности», который (?) чувствуется въ языкѣ этой драмы—въ противоположность «Герою нашего времени», гдѣ стертъ уже всѣ углы сознательной авторской мысли, поступающей сквозь психологію героя.

Сообразите, къ чему относится „который“, и что значить мысль, „поступающая сквозь психологію“.

Третій и послѣдній образчикъ все изъ той же несчастной рецензіи:

Стихія чувствъ, развертывающихся въ дѣйствіи драмы и просвѣчивающихся въ ея несовершенномъ текстѣ, какъ незастывшая, политая огнемъ лава просвѣчиваетъ сквозь трещины ея (чей?) поверхностной коры—вовсе не передавалась мимикою и интонаціями г. Константинова. И, тѣмъ не менѣе, быть можетъ, благодаря тому, что въ игрѣ артиста было, во всякомъ случаѣ, стремленіе къ художественной искренности и серьезное отношеніе къ своей задачѣ,—нельзя было не улавливать за всѣмъ, что стояло между нами и Лермонтовымъ, обжигающаго дыханія его (чей?) внутренней стихіи.

Стихія чувствъ, обжигающее дыханіе, политая огнемъ лава... Цѣлый „сейсмическій“ экскурсъ, очевидно навѣянный недавнимъ землетрясеніемъ въ Италіи. Для „литературности“ вся эта геологія пересыпана нарѣчіями: „тѣмъ не менѣе“, „быть можетъ“, „благодаря тому“, „во всякомъ случаѣ“.

Блѣдный Лермонтовъ, блѣдный читатель, блѣдный русскій языкъ!





Пешеходный мостъ черезъ р. Вислу.

3. ГИПЦИУСЪ. СТРАННЫЙ ЗАКОНЪ.

„...Не властенъ ли горшечникъ надъ глиною, чтобы изъ той же смѣси сдѣлать одинъ сосудъ для почетнаго употребленія, а другой—для низкаго?“

Ап. Павелъ, Рим. IX, 21.

Онъ такъ извѣстенъ, что я не назову ни города, гдѣ онъ живетъ, ни его специальности. Выдуманной фамилии тоже не хочется давать. Просто ученый, профессоръ. Далеко не старый, живой, веселый въ обществѣ, съ тихимъ, нѣжнымъ голосомъ.

Мы съ нимъ связаны еще университетскимъ товариществомъ, а потомъ — длительной, спокойной дружбой, хотя никогда не жили въ одномъ городѣ. Въ мою сѣверную столицу онъ прїѣзжаетъ не часто; но мнѣ въ голову бы не пришло проѣхать мимо того мѣста, гдѣ онъ живетъ, не завернувъ къ нему; и это случается почти каждый годъ. Анна Кирилловна, жена его, образованная, энергичная женщина, очень къ нему подходит. Она создала образцовое

училище, такъ называемое «коммерческое», для дѣтей обоого пола, очень самостоятельно и хорошо вела его. Лѣтомъ ѣздила за границу, изучая постановку школьнаго дѣла во Франціи и Англии. Анна Кирилловна казалась мнѣ въ одно и то же время и настоящимъ человекомъ, и настоящей матерью. Это такъ рѣдко!

Своихъ дѣтей у нихъ трое—три сына.

Мы съ профессоромъ не переписывались. Съ прошлаго Рождества не видались. И вдругъ вчера вечеромъ неожиданно встрѣтились здѣсь, на берегахъ Невы, въ знакомомъ домѣ.

Къ пожилой графинѣ Марьѣ Игнатьевнѣ я часто теперь захожу. Тихо тамъ, полутемно, и кажется, что это паутина печали, нависшая по угламъ, затѣняетъ свѣтъ.

Графиня вяжетъ что-то длинное, грубое, сѣрое, склонивъ подборъ къ лампѣ, вяжетъ и блѣдная Нидочка съ испуганными глазами—все на войну. Саша,



Дневка.

сынъ единственный, радость, ушелъ на войну. Бросилъ университетъ—ушелъ. И все въ гостиную графини полно Сашей, войной и печалью.

Гостей не бываетъ. Развѣ зайдетъ посидѣть, кромѣ меня, о. Владиміръ, сѣдой, добрый священникъ, что неподалеку живетъ, крестилъ Сашу и Нидочку и стараго графа хоронилъ.

Въ этотъ вечеръ онъ тоже пришелъ. А другой гость—мой профессоръ!

Мы отъ неожиданности какъ-то особенно обрадовались другъ другу. Выяснилось, что профессоръ пріѣхалъ «по дѣлу», безъ конца хлопоталъ, уѣзжалъ, сегодня только опять вернулся, благополучно окончивъ «дѣло», а домой—черезъ два дня.

— Завтра бы непременно былъ у тебя, — сказалъ, тихо усмѣхаясь, пощипывая черную бородку. — А раньше никакъ не могъ. Такое ужъ «дѣло».

— Да какое же?

Марья Игнатьевна вздохнула, не поднимая головы, и о. Владиміръ вздохнулъ, и Нидочка вздохнула.

О. Владиміръ сказалъ:

— Какія у насъ теперь дѣла? Провожаемъ близкихъ на великую войну, вотъ наши дѣла.

Я вдругъ вспомнилъ. Смутно, однако слышалъ, что старшій сынъ профессора, Костя, долженъ былъ держатъ какой-то экзаменъ на вольноопредѣляющагося... Были разговоры, но мелькомъ, вскользь, давно, какъ о неважномъ. Я мало зналъ о дѣтяхъ профессора.

— Ахъ, Костя! Неужели Костю взяли? Вѣдь дѣйствительно ему теперь за двадцать...

— Что ты, милый, — ласково остановилъ меня профессоръ. — Причемъ Костя? Онъ ужъ полтора года казачьимъ офицеромъ; а теперь пять мѣсяцевъ на передовыхъ позиціяхъ. Пока живъ, здоровъ.

— Вотъ тебѣ на! Такъ неужели Волю?.. Да вздоръ, Волѣ пятнадцать лѣтъ...

— Шестнадцать, — поправилъ профессоръ. — Нѣтъ, Воля дома, занимается. Ваню я, младшаго, устраивалъ. Ему тринадцать лѣтъ, оттого такъ и трудно было уладить. Ужъ я ко всякой протекціи прибѣгъ. Пришлось самому въ Варшаву везти. Правдами-неправдами приспособилъ его къ знакомому одному офицеру. Удовольствія-то сколько!

Я слушалъ онѣмѣвъ. А Марья Игнатьевна стала даже улыбаться. Какъ будто ей легче было отъ того, что у профессора такое же горе, да еще тяжелее: два сына на войнѣ, и даже тринадцать лѣтъ одному!

— Онъ—здоровый мальчикъ, большой, сильный, — продолжалъ профессоръ. — Сразу сталъ рваться. На Костю похожъ. Тотъ и до войны только о военной службѣ и могъ думать.

Профессоръ говорилъ это со спокойной и тихой ясностью, какъ что-то совершенно естественное, давно обдуманное и понятное. А я, признаться, не опомнился. Надо было знать профессора и его жену,



Свободная минута въ окопахъ.

какъ я ихъ зналъ; дѣтей я, правда, не зналъ, но въѣдъ это были ихъ дѣти! И онъ самъ повезъ ребенка... Что же Анна Кирилловна?

— Каково матери-то,—произнесъ о. Владиміръ будто угадывая мои мысли.—Дитя молодое...

Профессоръ улыбнулся.

— Конечно. Но моя жена понимаетъ, что есть непреложные законы жизни, недостаточно изслѣдованные, навсегда, можетъ быть, закрытые, но непобѣдимые,—законы исторіи и жизни.

Я заволновался.

— Постой, какіе законы! Беззаконіе, если хочешь. Чтобы не справиться съ ребенкомъ... Самъ повезъ... Не понимаю.

— Да зачѣмъ же мнѣ съ нимъ справляться? У него было влекущее желаніе къ опредѣленному дѣлу, такъ же какъ у Кости. Къ другимъ оба они совершенно неспособны. Дѣло это сейчасъ очень нужно. Если Ваня слегка опоздалъ родиться—не его вина. Зато онъ очень развитъ физически, силенъ и смѣлъ.

— Великія, великія дѣла совершаются!—покачалъ головой о. Владиміръ.

— Позволь,—не унялся я.—Что значитъ „ни къ чему другому неспособенъ“? Учился, что ли, плохо? Это—твой сынъ? А средній, Воля?

— Воля—обыкновенный мальчикъ, хорошаго ума и развитія. А Костя и Ваня—подзаконные. Ты не

понимаешь? Ну... не знаю, стоитъ ли объ этомъ... Достаточно сказать, что изъ троицъ моихъ сыновей, въ однихъ условіяхъ и тѣми же людьми воспитанныхъ, двое оказались къ воспитанію невосприимчивыми, а средній шелъ обыкновеннымъ путемъ. И Костя, и Ваня одинаково тупѣли отъ всякой книги, не интересовались ничѣмъ, кромѣ развѣ прикладныхъ знаній. Типичные «последніе ученики». Было бы глупой жестокостью ломать ихъ. Это—законъ природы, путь исторіи.

— Опять законъ? Какіе пути исторіи?

— Пути Господни неисповѣдимы,—покорно вставилъ о. Владиміръ.

А профессоръ неохотно сказалъ:

— Да, это—странный законъ. Есть такіе законы и пути, пожалуй неисповѣдимые... И однако реальность ихъ несомнѣнна.

— Какой же законъ, профессоръ?—блѣдно улыбнулась Марья Игнатьевна, поднявъ глаза отъ вязанья.—Я не совсѣмъ васъ понимаю. Можетъ быть, это слишкомъ специально, и мы, непосвященные...

— О, вовсе нѣтъ!—вдругъ оживился профессоръ.—Напротивъ, научно это почти еще обосновано. Вещь очень несложная: я вамъ дамъ ее въ самомъ прямомъ построеніи. Странный законъ, о которомъ я говорю, это—законъ приспособленія человечества къ исторической катастрофѣ, и, главное, соответственнаго приспособленія гораздо раньше

катастрофы, то есть какъ бы приготовленіе къ ней, совершенно природное, физическое. Природѣ извѣстно будущее, неизвѣстное намъ. Позвольте, я поясню: когда наступаетъ война—вотъ сейчасъ на примѣръ,—то оказывается, что главная масса народа, въ возрастѣ именно 20—25 лѣтъ, состоитъ какъ разъ изъ индивидуумовъ, наилучшимъ образомъ къ этому дѣлу приспособленныхъ, на это дѣло годныхъ и для него только и нужныхъ. Германія—примѣръ яркій, но спорный. Германію, при желаніи, можно такъ обернуть: германцы хотѣли войны и сами готовили ее въ своихъ дѣтяхъ. Это конечно—поверхностный взглядъ; я и не беру одну Германію, или даже одну эту войну; мы говоримъ о всемъ человечествѣ и обо всей исторіи. Да, сама исторія или кто-то, знающій ее будущее и пути народовъ, заготовляетъ въ нихъ, копить именно тѣ силы, которыя окажутся нужны; творить людей для будущей катастрофы...

— Пойдите, постои!—пытался я перебить, но профессоръ уже не слушалъ.

— Мой сыновья, Костя и Ваня, это—двѣ капли того людского океана, который нуженъ былъ для сегодняшняго наводненія. Ваня опоздалъ немного родиться, но по качеству, по всему своему составу, онъ—именно эта океаническая капля; или сольется съ другими, или даромъ высохнетъ. Также и старшій, Костя. Да оглянитесь вокругъ себя, только внимательно; мало вы видите такихъ сейчасъ капель? Вспомните время предъ войной, вспомните безплодіе, томленіе, метанье молодыхъ слоевъ Европы—и Россіи, и Россіи! И это—внѣ социальныхъ разграниченій, спуститесь куда угодно; вамъ незнакома развѣ надобная фраза: «хулиганство деревенской молодежи»? Искали причинъ въ социальныхъ условіяхъ, а причина была одна, вѣчная, законная: готовилась великая борьба, но она еще не наступила, опредѣленные силы не находили своего истиннаго приложенія, не вошли въ русло... И преобразились, едва вошли. Костя и Ваня—мои дѣти? Дѣти исторіи, дѣти времени ея прежде всего. Они родились не для меня, не для себя, а для той мировой борьбы, которая должна была неотвратимо наступить. Оба они, и большой Костя, и Ваня, опоздавшій родиться, просіяли, углубились, измѣнились, такъ счастливы были, тѣ же слова повторяли: «Пойдемъ умирать за родину!». А средній, Воля, тихо смотритъ, тихо говоритъ: «Мнѣ жить придется послѣ войны». Онъ въ свое время родился, ни слишкомъ рано, ни слишкомъ поздно, родился для себя, для жизни послѣ войны. Такъ оно есть... Таковъ странный законъ человеческихъ судебъ... И мнѣ съ нимъ бороться?

Онъ всталъ, взволнованный. Онъ не замѣтилъ, что Марья Игнатьевна давно опустила вязанье и смотрѣла на него непонимающими, но праведно-оскорбленными материнскими глазами. Испуганно, растерянно слушалъ о. Владиміръ.

— Нѣтъ... Нѣтъ...—заговорила Марья Игнатьевна, приподымаясь.—Такого не можетъ быть закона... Для войны?.. Для... Нѣтъ, нѣтъ...

Она положила вязанье и поспѣшно, закрывъ лицо платкомъ и путаясь въ шлейфѣ чернаго платья, вышла изъ комнаты. За ней тотчасъ выбѣжала и Нидочка.

Профессоръ сразу смолкъ и удивленно посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, а потомъ перевелъ глаза на насъ съ о. Владиміромъ.

О. Владиміръ покачалъ сѣдой головой.

— Сколь вы неосторожно, — произнесъ онъ съ сожалѣніемъ. — Да. Ученыхъ законовъ не знаю, а вижу, сколь дерзновенно ученые судятъ.

— Да что же я сказалъ такого, батюшка?—смѣшавшись началъ профессоръ. — Я просто изложилъ общія, многимъ извѣстныя, наблюденія.

— Дерзновенно это, весьма дерзновенныя наблюденія. Материнское сердце по живомъ сынѣ болитъ, а вы—для того, молъ, онъ и родился, такъ тому и быть. Развѣ мы судимъ, кто для чего рожденъ? Это—Божье дѣло, не наше.

Профессоръ молчалъ. И видъ у него былъ, какъ у ребенка, который виноватъ, но не знаетъ, въ чемъ виноватъ.

Запахивая полу рясы, о. Владиміръ прибавилъ:

— Да ужъ ничего, пойду разговорю ее, графинюшку. Какіе законы! Материнскому сердцу одному пусть живъ будетъ.

— Простите, батюшка,—сказалъ кротко профессоръ,—можетъ быть, и не слѣдовало этого говорить здѣсь. Я не зналъ. Мы съ женой, съ Анной Кирилловной, много объ этомъ бесѣдовали. И она—мать. Законы мировые она видитъ, только всѣ называетъ законами Господними, непонятными, иногда страшными для насъ, но благими.

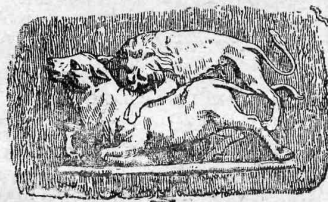
О. Владиміръ пошелъ успокаивать Марью Игнатьевну, а мы съ профессоромъ—домой.

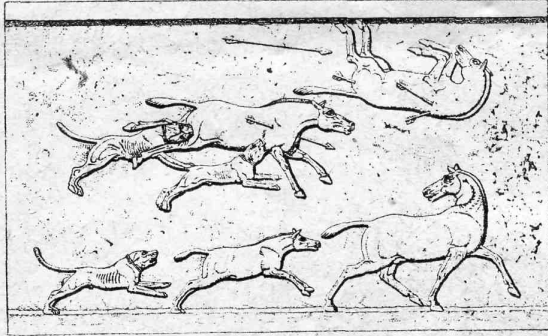
Ну, а мы съ профессоромъ—домой. Долго еще бродили вмѣстѣ по тихимъ, освѣженнымъ улицамъ, и профессоръ мнѣ рассказывалъ о странномъ законѣ мирового providѣнія и приуготовленія. Долго еще говорили мы о тайнѣ времени, о дѣтски-жестокомъ человечествѣ, обо всемъ младенческомъ мирѣ и о непостижимой, суровой, но благой Божьей заботѣ—о землѣ.

Когда нибудь я вернусь къ этимъ разговорамъ, къ профессору, къ его дѣтямъ, къ странному, глупо-богому закону—къ войнѣ.

Когда нибудь—не теперь.

З. Гиппіусъ.





М Е Ч Ъ,

1.

О, Боже! Боже духовъ, всякой плоти!
Какимъ путемъ,—скажи,—меня ведешь?
Молчу въ дневной, томительной работѣ,
Влачу мечту въ забвеньѣ и заботѣ,

Но Ты и въ днѣхъ безудержно зовешь.
И вдругъ пойму—и кажется, что знаю,
Куда ведетъ Твой неизбѣжный путь;
Но день уйдетъ—и я къ такому краю

За каждымъ днемъ волнуясь убѣгаю,
Что не могу волны своей вернуть.
Бѣгу въ ночи, не зная утоленья,
Въ ночи живу, ступенный и нѣмой,

Какъ Ты, какъ сонъ, какъ сумракъ звѣздный Твой!
Живу въ ночи, въ ночи неутоленья,
И умоляю: Господи, открой!

2.

Прихожу я къ тебѣ не на долгую ночь,—
Развѣ можешь ты сердцу помочь?
Я хочу безконечно любить и желать,
Я хочу не сгорая сгорать!

Засіять—и навѣкъ отгорѣть, отсіять?
Лучше счастья не ждать, не желать!
Но, любовью сгорая, томительно жить,
Но тянуть упоенную нить!

Знаю лепетъ глупцовъ о стораніи вмигъ,
Но я страсти еще не достигъ:
Я достигнуть хочу ее въ медленныхъ снахъ,
Въ затаенныхъ ночныхъ глубинахъ.
Въ затаившемся счастьѣ—въ печали моей—

Не устанетъ истома страстей.
Я не смерти хочу, я безсмертія жду,
Я въ безсмертіи счастье найду!

3.

Есть еще одинъ лепетъ глупцовъ: не люби—
Въ равнодушіи страсти сгуби.
Не сгубить, но возникнуть въ тоскѣ роковой,
Затаивши огонь надъ землей!

Затаивши огонь, чтобы землю прожечь,
Удержать свой направленный мечъ
Надъ землей, ожидающей страсти въ звѣздахъ,
Удержать свое счастье въ мечтахъ!

Чтобы землю прожечь, чтобы воду зажечь,
Чтобы врѣзать свой огненный мечъ,
Опаляющій кровь, истомляющій плоть!..
Будь защитникомъ нашимъ, Господь!

Надъ землей ожидающей мечъ удержи,
Надъ водой призывающей долго дрожи,
И потомъ прожигая пронзи!

4.

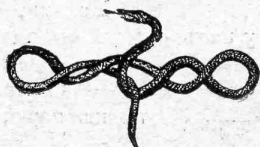
И вотъ горю въ разсѣянныхъ звѣздахъ
И сдерживаю мечъ свой опьяненный;
Гляжу на землю съ высоты влюбленной
И весь дрожу въ неистовыхъ лучахъ.

И если голосъ мой хоть вѣтеръ слышитъ,—
Я не могу любить съ иной тоской!
Земля дрожитъ и изступленно дышитъ,
Горючій вѣтеръ океанъ колыхитъ,

Безумный дождь струится надъ водой.
Подъ шумъ дождей, подъ плескъ морского гула
Земля въ снѣгахъ бѣлѣющихъ уснула—
Я не могу любить съ иной тоской!

Земля въ снѣгахъ бѣлѣющихъ уснула,
Влюбленный мечъ мерцаетъ надъ землей...
О, Боже, въ смерти будь защитникъ мой!

Вл. Бестужевъ.





Исправление военной дороги во Франціи.

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ.

БЫЧОКЪ,

Сказка *).

Жиль-быль старикъ со старухой. Въ бѣдности старики жили, только что одна корова—тутъ и все ихъ хозяйство. И хотѣлось старикамъ, хоть на старости лѣтъ, на бычка посмотрѣть, а такая все незадача, корова не телилась. Ужъ что ни дѣлали,—не телится!

Старуха и говоритъ старику:

— Сведи-ка, старикъ, «Буренушку» къ хрѣнову быку!

Хрѣновъ—кумъ изъ дальняго села.

Вотъ старикъ и пошелъ, повелъ «Буренушку». Шелъ, шелъ, дорога лѣсомъ вела, и раздумался старикъ: и чего это ему тащиться такую даль быка искать?

— Ну,—говорить,—ты, «Буренушка»!—даи повернулъ назадъ.

Пришелъ домой старикъ.

— Ну, что, старикъ?

— А ничего, старуха, дастъ Богъ, будетъ у насъ бычокъ.

Къ Рождеству «Буренушка» отелилась.

Какъ глянули старики, такъ и ахнули: вѣдь Богъ его знаетъ... въ родѣ какъ человѣкъ, дите, только морда телячья и хвостъ—во!—торчкомъ.

— И что это, старикъ, такое?

— Да ужъ и не знаю, старуха,—бычокъ.

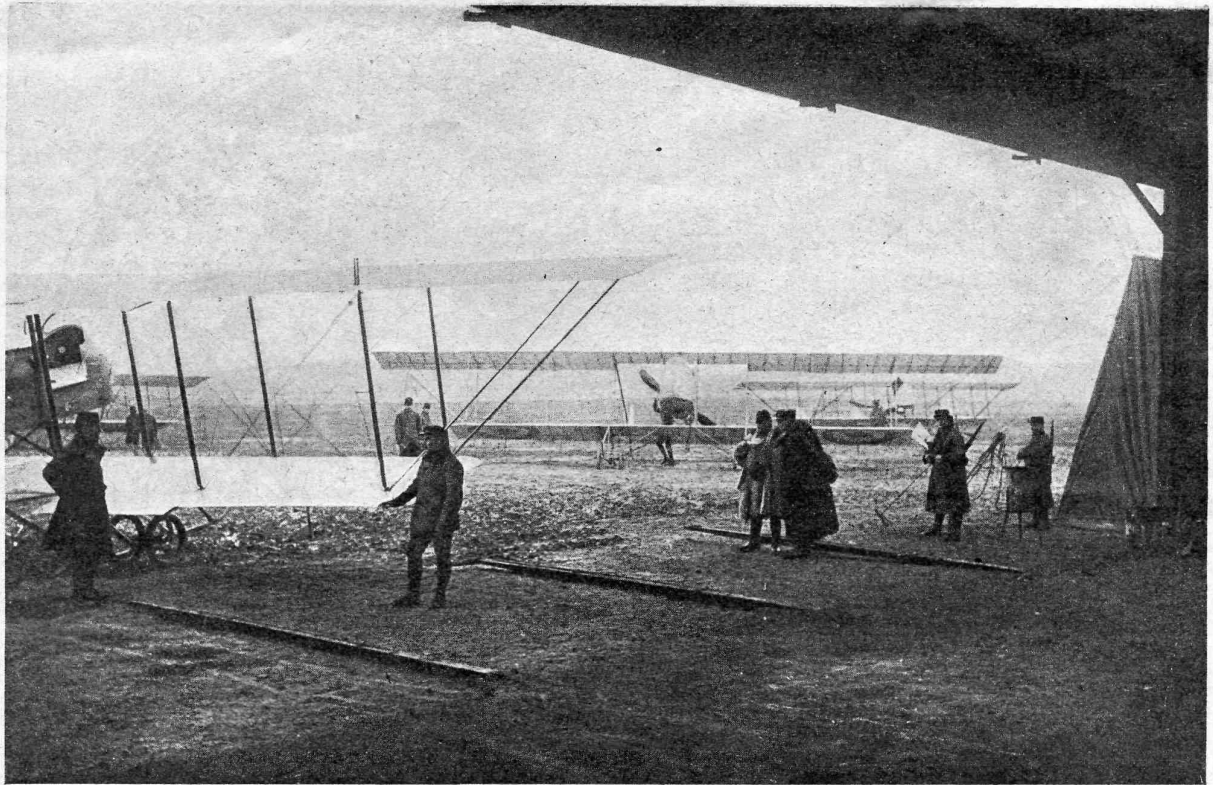
Что дѣлать? Божье, живое—нельзя губить. И оставили старики бычка-мальченку при коровѣ расти въ теплушкѣ. А онъ себѣ растеть и растеть и къ веснѣ этакій выросъ, и говорить, пострѣлъ, научился, старика со старухой папашей да мамашей величать сталъ. Старики по мордочкѣ его гладили, а иной разъ съ хвостомъ его поиграются, утѣшались, Бога благодарили: у нихъ, у старыхъ, на бѣломъ свѣтѣ ни души не было, не съ кѣмъ и поговорить было.

Дальше—больше, расти и расти, и такой молодецъ поднялся, что, не будь хвоста при немъ да этой морды самой телячьей, ну, вылитый Иванъ-царевичъ.

— Слушай, сынокъ,—говорятъ старики,—иди-ка ты къ царю, проси за себя царскую дочь.

— Не отдамъ!

*) Въ основу положена бурятская сказка изъ сборника А. Д. Руднева, № IX.



Военный аэродромъ въ Шахмани.

— Отдасть!—старикъ вѣдь къ нему, какъ къ сыну родному, привыкли.

Вырядили его во все новенькое, пригладили—пробоваль старикъ хвостъ ему попримять, нѣтъ, торчитъ!—такъ и благословили въ путь.

Онъ и пошелъ. Приходитъ къ царю. А былъ царь мудрости превеликой,—оглянулъ онъ его съ ногъ до головы.

— Чего,—говорить,—тебѣ, молодецъ, надобно?

— А хочу,—говорить,—царевну замужъ взять.

— Ладно, мы дадимъ тебѣ дочь.

Царь послалъ царевну на бѣлобокаго коня о восьми ногахъ, и покатылъ молодецъ съ невѣстой домой.

То-то старикамъ была радость.

Тутъ, не думая долго, свадьбу сыграли.

Все село собралось, завели игры, подняли пѣсни, ой, весело! И одна лишь невѣста кручинится: какъ посмотреть—эта морда и хвостъ торчитъ!—такъ и зальется слезами.

Послѣ свадьбы молодецъ за работу взялся: на-

таскалъ лѣсу, вытесалъ бревна, напилить досокъ—задумалъ царевнѣ дворецъ построить. День строить и другой строить—выше лѣса ужъ стройка.

— Что ты кручинишься,—говорить онъ женѣ,—посмотри, я до облакъ сострою.

А ей ничего ужъ не надобно.

Какъ посмотреть—эта морда и хвостъ торчитъ!—такъ и зальется слезами.

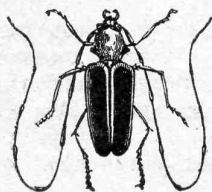
Вотъ она вышла изъ дому и пошла по полю къ той березѣ, гдѣ ходилъ ея конь бѣлобокій. Обвязала себѣ шею веревкой, веревку къ коню, свиснула—дернулъ конь и помчался.

Гдѣ жена? Кличетъ молодецъ царевну: въ домѣ нѣтъ, туда-сюда, нѣтъ нигдѣ. Выскочилъ въ поле, а тамъ конь ее по полю мечетъ? Свиснулъ да вдогонъ, какъ вѣтеръ, и нагналъ коня, освободилъ царевну.

А она какъ посмотреть—гдѣ морда, гдѣ хвостъ?—не узнать, сталъ онъ, ну, какъ Иванъ-царевичъ.

И съ той поры зажили въ душу.

Алексѣй Ремизовъ.





Д. МЕРЕЖКОВСКИИ.

БАЙРОНЪ.

III. Религія Байрона *).

Байронъ—великій поэтъ, властелинъ слова. Но само слово несоизмѣримо съ тѣмъ, что онъ хочетъ въ немъ выразить; человекъ въ словѣ не вмѣщается; онъ больше слова. Нельзя ничего сказать, только сказать,—надо сдѣлать и уже потомъ сказать.

Это Байронъ знаетъ лучше, чѣмъ кто либо. Отъ слова къ дѣлу, отъ созерцанія къ дѣйствию—таково устремленіе всей жизни его и всей поэзіи. Для Флобера: „человекъ—ничто, произведеніе—все“; для Байрона: „произведеніе—ничто, человекъ—все“. Лучше совсѣмъ не быть поэтомъ, чѣмъ быть только поэтомъ.

„Что такое поэты? Что они сдѣлали? Чего они стоятъ? („Дневникъ“, 1821 г.) Если надо выбрать и отказаться отъ чего нибудь, то онъ откажется не отъ жизни, отъ дѣйствія, а отъ созерцанія, отъ поэзіи.

„Я отказался отъ бумагомаранія... покончилъ съ профессіей писателя“,—объявляетъ онъ въ 1811 году, т. е. наканунѣ своихъ величайшихъ созданій.—„Стихи для меня болѣе не существуютъ. Было у меня время стиховъ, но оно прошло“. (1814 г.).

„Я очень серьезно желаю уничтожить всѣ свои сочи-

ненія“,—пишетъ онъ своему издателю, какъ будто предсказывая нашихъ великихъ русскихъ писателей, тоже не вмѣстившихся въ словѣ и ушедшихъ отъ слова къ дѣйствию.

„Если я проживу еще лѣтъ десять, то вы увидите, что со мной еще не кончено,—не говорю, въ литературѣ, потому что это не считается: можетъ казаться страннымъ, но я полагаю, что мое призваніе въ иномъ. И вы увидите, что я еще кое-что сдѣлаю“. (Т. Муру, 1817 г.)

И умирая за „дѣло“, за дѣло освобожденія, т. е. любви, величайшее изъ всѣхъ дѣлъ человѣческихъ, онъ спрашиваетъ себя: не была ли поэзія главной ошибкой всей жизни его, а настоящимъ призваніемъ—что? „Политика“? О, конечно не политика въ томъ плоскомъ и грубомъ смыслѣ, какъ это слово обыкновенно понимается, а въ какомъ-то иномъ, глубочайшемъ, благороднѣйшемъ,—если не для него самого, то для насъ—уже религіозномъ.

И пусть его поэзія, во многихъ частяхъ своихъ, ложно-романтическихъ (ибо есть и „ложный романтизмъ“, какъ есть „ложный классицизмъ“), давно полиняла и выцвѣла; пусть вся эта условно-восточная живопись въ „Ларѣ“, „Корсарѣ“, „Абидосской невѣстѣ“ и другихъ любовно-разбойничьихъ поэмахъ—только театральная декорация. Но не театральнй потолокъ надъ ней, а настоящее небо съ грозой, и сквозь лохмотья разорванныхъ полотень сверкаютъ настоящія молніи.

*) См «Г. Ж.», №№ 1 и 2.

И пусть не о томъ, о чемъ надо, слова его, но каждое слово—отъ дѣйствія къ дѣйствию; отъ воли къ волѣ, отъ сердца къ сердцу. Вотъ почему они такъ дѣйствуютъ:

„Ибо, что идетъ изъ сердца,
То до сердца и дойдетъ“.
(„Denn es muss von Herzen gehen,
Was auf Herzen wirken soll“.)

Всего человѣка нѣтъ ни въ одномъ изъ словъ его, но за каждымъ словомъ—весь человѣкъ. За каждое слово отвѣчаетъ онъ. Я, читатель, и онъ, поэтъ,—какъ два врага на полѣ битвы: его или моей, но чьей нибудь смертию поединокъ долженъ кончиться.

„Crede Vugon—Вѣрь Байрону“;—эти слова на гербѣ его могли бы служить эпиграфомъ ко всей его поэзии. Да, кому другому, а ему вѣрять не вѣрять.

Въ любезной болтовнѣ позапрошлаго вѣка слова потеряли свой вѣсъ, вывѣтрившись, сдѣлались пустыми и легкими. Байронъ опять наполнилъ ихъ драгоценною тяжестью, наполнилъ кровью.

Какъ всѣ истинные художники, отрицая искусство, онъ утверждалъ его, унижая возвышалъ. Это и была награда за то, что искусствомъ онъ жертвовалъ чему-то высшему, что называлъ скромно, но не точно „политикой“.

„Политика замутила въ немъ поэзію,—думаетъ Гете.—Освободись Байронъ, при помощи рѣзкихъ выступленій въ парламентъ, отъ всего революціоннаго, что было въ немъ, онъ оказался бы гораздо чище какъ поэтъ. Его отрицательныя сочиненія—невъсказанныя парламентскія рѣчи“.

Тутъ Гете ошибается, не понимаетъ чего-то самаго главнаго въ Байронѣ. Нѣтъ, „революціонное“—не муть, не примѣсь, не ивородное тѣло, а первозданный огонь, подземный родникъ всей его поэзии. Если революціонное ничтожно въ немъ, то онъ и самъ ничтоженъ. Вынуть изъ него революцію—значить, вынуть душу. Не только въ созерцаніи, въ поэзии, но и въ жизни, въ дѣйствіи онъ—революціонеръ до мозга костей.

Не говоря уже о такихъ чисто-политическихъ поэмкахъ, какъ „Видѣніе Суда“, „Бронзовый Вѣкъ“, „Пророчество Данте“, „Проклятіе Минервы“,—самыя огненные строфы Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана—настоящія революціонныя воззванія, то, за что сажаютъ въ тюрьмы и ссылаютъ на каторгу.

„Я не писалъ эпиграммъ, но, если бы мнѣ пришлось бросать въ кого нибудь этими ручными гранатами, то именно въ него, въ принца-регента“. (1812 г.) „Видѣніе Суда“—такая ручная граната, настоящее террористическое дѣйствіе, покушеніе, если не на жизнь, то на честь короля.

Слова—дѣла его. Но словъ мало ему: онъ говоритъ и дѣлаетъ, и меньше говоритъ, чѣмъ дѣлаетъ.

„Въ теперешней схваткѣ философіи съ тираніей слѣдуетъ отбросить ножны въ сторону. Я знаю, силы неравны, но все-таки бой долженъ быть данъ, и онъ принесетъ пользу людямъ, чѣмъ бы ни кончился для тѣхъ, кто жертвуетъ собою“. (1822 г.)

Для него свобода—не отвлеченная истина, а дѣло жизни, дыханіе жизни его. Оскорбленіе свободы—оскорбленіе личное. „Бурбоны восстановлены!.. Повѣсьте же философію!.. Поистинѣ долго я презиралъ и себя, и людей, но никогда не приходилось мнѣ плевать въ лицо моимъ ближнимъ! О, шутъ, я сойду съ ума!“ („Дневникъ“, 1814 г.)

Жало политики—жало въ плоть его; когда оно вонзается, онъ кричитъ, реветъ, какъ раненый звѣръ, отъ боли и бѣ-

шенства. „Чувство, которое я сейчасъ испытываю, есть безпредѣльное бѣшенство“. „Безмолвное бѣшенство“,—„silent rage“, какъ у того чертенка въ школѣ Гарроу.

„— А тебѣ какое дѣло, чертенокъ?“

„— Съ позволенія вашей милости, я хотѣлъ бы взять себѣ половину ударовъ“.

Нѣтъ, не половину, а всѣ.

Въ 1820 г., въ Равеннѣ, онъ вступаетъ въ заговоръ итальянскихъ карбонаріевъ. Сочувственно перечисляетъ рядъ политическихъ убійствъ въ городѣ и въ окрестностяхъ. Въ домѣ его—тайный складъ оружія и пороха. Шпіоны слѣдятъ за нимъ. Ему угрожаютъ наемные убійцы. Австрійское правительство думаетъ, что весь планъ и подробности возстанія выработаны имъ.

Ненаписанный конецъ „Донъ-Жуана“—смерть на баррикадахъ Великой Революціи. То, чего не исполнилъ въ поэмѣ, онъ исполнилъ въ жизни: конецъ Донъ-Жуана—конецъ Байрона. „Война за освобожденіе Греціи—та же революція“, думаетъ онъ.

Все, что имѣетъ, онъ отдаетъ возстанію.

Сначала—деньги. „Пришлите мнѣ всѣ деньги, какими я могу располагать,—пишетъ онъ своему повѣренному въ Англии.—Надо приготовить всѣ мои гроши“. Продаетъ, закладываетъ все. „Я истратилъ 30.000 долларовъ въ три мѣсяца... Я поддерживаю почти всю военную машину на свои средства. Но только бы греки побѣдили, мнѣ ничего не жаль“. (1823 г.)

Потомъ—здоровье. „Я себя не обманываю насчетъ состоянія своего здоровья и никогда не обманывалъ. Но я долженъ остаться въ Греціи. Я не долженъ думать о себѣ“. Лучше умереть съ пулей въ тѣлѣ, чѣмъ съ хиной... Если насъ не зарубятъ саблями, то по всей вѣроятности мы умремъ отъ лихорадки въ этихъ грязныхъ норахъ“. (Миссолонги, февраль, 1824 г.) Въ Драгометри пять ночей спитъ на палубѣ не раздѣваясь. Дважды судно его едва не разбивалось о скалы. Турки едва не захватили его въ плѣнъ.

Наконецъ—жизнь. И всего ужаснѣе то, что въ послѣднюю минуту видитъ, что жертва его бесполезна. Греки избѣгаютъ ему, отказываются идти на Лепантъ. „Греки—величайшіе изъ лжецовъ“... Опять „плюетъ въ лицо ближнимъ своимъ“, „люди хуже собакъ“; опять любя ненавидитъ. Но теперь уже понялъ тайну любви ненавидящей:

„Пусть не могу я быть любимымъ,
Я все-жъ хочу любить!“.

И за любовь умираетъ:

„Такъ бросься-жъ въ бой
И жизнь свою отдай!“.
(„Up to the field and give
Away thy breath!“)

Или, какъ во второй части „Фауста“, восклицаетъ Евфоріонъ:

„Und der Tod
Ist mein gebot“.
(„И на смертный зовъ
Я идти готовъ“.)

„Нѣтъ больше той любви“... Тутъ свобода и любовь—одно.

Да, Гете ошибается: революція Байрона ни въ какихъ „парламентскихъ рѣчахъ“ невмѣстима, ни съ какой теку-

щей политикой несомнѣрим; это—революція безконечная, трансцендентная.

„Восходить все выше долженъ,
Дальше долженъ я смотрѣть“.
(„Immer höher muss ich steigen,
Immer weiter muss ich schauen“),—

какъ говорить тотъ же Евфоріонъ-Байронъ. Последняя высь, послѣдняя даль—уже не здѣсь, а тамъ, въ мірахъ иныхъ.

„Я чрезвычайно упростилъ свою политику: теперь она состоитъ въ томъ, чтобы ненавидѣть всѣ существующія правительства“.(„Дневникъ“, 1814 г.) Если бы превозглашена была всюду республика, если бы свобода восторжествовала во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ, онъ не утолился бы. „Свобода,—я ея не знаю и никогда не видѣлъ“, т. е. не видѣлъ здѣсь, на землѣ, въ дѣлахъ человѣческихъ.

Такой отвлеченный анархизмъ нереволуціонеръ, недѣйственъ и недѣйствителенъ. Тутъ главный грѣхъ его сознанія—ложный идеализмъ, ложный романтизмъ: „все, что угодно, только не дѣйствительность“ (any thing, but reality).

Отъ этой лжи сознанія спасла его правда воли и чувства—„безумство“ любви ненавидящей.

Послѣдняя свобода не на землѣ, а на небѣ. Но революція, какъ религія, и заключается именно въ томъ, чтобы сводить свободу съ неба на землю: да будетъ воля Твоя на землѣ, какъ на небѣ.

Богъ есть свобода. Но и человѣкъ можетъ быть Богомъ, и Одинъ изъ людей уже былъ воистину Богомъ.

Это и значитъ—человѣкъ можетъ быть свободенъ. Если Богочеловѣчество, послѣдняя цѣль религіи—не мечта, а дѣйствительность, то и послѣдняя цѣль революціи, свобода,—тоже не мечта, а дѣйствительность.

Это и значитъ: революція есть религія.

Такъ для насъ, но не такъ для Байрона. Для него революція—антирелигія или—по крайней мѣрѣ антихристианство, источникъ демонизма, уже не поверхностнаго, внѣшняго, а глубокаго, внутренняго, того, который былъ не личиной, а лицомъ его.

Что Байронъ—существо религіозное, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

„Онъ говорилъ намъ, что ему одинаково невозможно быть ни догматикомъ, ни атеистомъ: присущее ему внутреннее чувство Бога, хотя онъ и не сумѣлъ бы объяснить этого чувства, кажется ему столь же вѣрнымъ доказательствомъ того, что Богъ есть, какъ влияние сѣвера на компасную стрѣлку—доказательство того, что есть магнитный полюсъ“. (Lord Broughton-Hobhouse, 15-го октября, 1816 года.)

Никогда не терилъ онъ этого „внутренняго чувства“: чувство его, воля его—вся въ религіи. Но не все—сознаніе. Волѣ и чувству не соответствуетъ сознаніе.

Въ дѣлахъ житейскихъ онъ уменъ, какъ день. Но умъ житейскій—малый умъ, малый разумъ; есть и другой, большой,—часто противоположный малому.

Вотъ этого-то „большаго разума“ и нѣтъ у Байрона, или недостаточно. Воля и чувство его безграничны, умъ ограниченъ.

„Ему не удалось достигнуть пониманія самого себя, и вообще разсужденіе ему не удавалось,—замѣчаетъ Гете:—онъ великъ только, какъ поэтъ, разсуждаетъ же по-дѣтски“.

„—Дѣточка Байронъ! Глупенькая дѣточка!“—могъ бы сказать мудрый Гете, такъ же какъ любящая Августа.

Эта несообразность ума съ волей и чувствомъ есть метафизическая неустойчивость, хромота его.

Онъ—слабый, потому что слѣпой или полузрячій, титанъ, одноглазый Циклопъ. Что-то огромное и неуклюжее, циклопическое—во всемъ его существѣ и творчествѣ: громоздить глыбы на глыбы, горы на горы—лѣзеть по нимъ и самъ не знаетъ куда: въ небо или въ преисподнюю.

Преобладаніе „малаго разума“ надъ „большимъ“ есть рационализмъ, разсудочность—смертный грѣхъ XVIII вѣка. Байронъ, такъ же какъ Наполеонъ,—сынъ этого вѣка. Рационализмъ погубилъ обоихъ.

Но уже не погубить героевъ будущаго. Мы уже знаемъ, что разумъ не только „малый“, но и „большой“—не весь человѣкъ: человѣкъ больше своего разума. Истины воли и чувства, хотя иной природы, но столь же несомнѣны, какъ истины разума. Разумъ, ratio—не „блудница“,—какъ думалъ Лютеръ,—но все-таки женщина: самъ ничего не зачинаетъ и не рождаетъ безъ воли и чувства, безъ дѣйствія. Разумъ, какъ начало отвлеченное—рационализмъ,—безплоденъ и разрушителенъ.

„Право мыслить—наше послѣднее и единственное убѣжище“ (our right of thought, our last and only place of refuge). Нѣтъ, не единственное: право хотѣть и чувствовать, т. е. жить и дѣйствовать,—болѣе вѣрное убѣжище.

Когда Байронъ прославляетъ „вѣковѣчный духъ разума, неукротимый никакими цѣпями“, онъ хорошо дѣлаетъ. Но нехорошо, когда забываетъ, что воля и чувство такъ же свободны, какъ разумъ.

„Я приобрѣлъ могущество свое силою разума“ (strength of mind),—говоритъ Манфредъ и думаетъ, что нѣтъ могущества большаго, но ошибается: соединеніе разума съ волей и чувствомъ—могущество большее, чѣмъ только разумъ.

Рационализмъ—религіозная ложъ Байрона. Всѣ его возраженія противъ Бога, противъ Христа рациональны, разсудочны, но не разумны и даже не умны.

„Вы говорите: Галилеянинъ. Гдѣ же плоды? Сдѣлали ли васъ заповѣди Его лучше, мудрѣе, добрѣе? Ужъ конечно, если бы Онъ сошелъ на землю или послалъ когонибудь, Онъ явился бы всѣмъ народамъ и вразумительно для всѣхъ... Христосъ пришелъ спасти людей? Зачѣмъ же не всѣ люди—христиане? Кто же повѣритъ, что Богъ осудитъ ихъ за то только, что они не знаютъ, чему ихъ учили?“ (Годжсону, 1811 г.)

Ну, конечно никто не повѣритъ, да и не надо вѣрить; ну, конечно Богъ не осудитъ людей, Христу ненаученныхъ. Но, „дѣточка Байронъ“, глупенькая дѣточка, неужели же Христосъ—только „ученіе“, пониманіе? Неужели Онъ спасаетъ только тѣмъ, что понятенъ, „вразумителенъ“, а не тѣмъ, что Онъ есть? Слѣпые не видятъ солнца, но оно для нихъ есть, и безъ него слѣпые погибли бы такъ же, какъ зрячіе.

Религіозная ложъ Байрона—ложъ почти всего христiansкаго человѣчества, но на комъ отвѣтственность за эту ложъ: на человѣчествѣ или на самомъ христiansствѣ, это—еще вопросъ.

Люди вѣрятъ тому, что видятъ: кто за свободу, тотъ противъ Христа; кто за Христа, тотъ противъ свободы. Не только человѣчество, но и само христiansство какъ будто забыло, что оно ни къ чему не приводитъ, или къ величайшему изъ всѣхъ освобожденій, изъ всѣхъ революцій—къ

такому перевороту, которымъ долженъ кончиться міръ. Конецъ христіанства или ничто, или конецъ міра—Апокалипсисъ.

Но если Богъ противъ свободы, то не за нее ли тотъ, кто противъ Бога,—дьяволъ? Вотъ откуда главное религиозное чувство Байрона—чувство свободы, какъ чего-то „демоническаго“, богопротивнаго и все-таки божественнаго, хотя уже въ иномъ, обратномъ, смыслѣ божественнаго.

Если свобода—не добро, а зло, то да будетъ же зло добромъ. „Зло, будь моимъ добромъ!“—говоритъ Сатана у Мильтона. „Сатана, будь моимъ Богомъ!“—говоритъ человекъ у Байрона. Но если такъ, то нѣтъ Бога и дьявола, а есть два Бога, два вѣчныхъ и равныхъ Начала, раздѣленныхъ и раздѣляющихъ все. „Темный“ становится Свѣтлымъ, Свѣтоноснымъ, Люциферомъ.

Кайнъ.—Зачѣмъ же вы раздѣлены?

Люциферъ.—Мы оба царствуемъ.

Кайнъ.—Но злой одинъ?

Люциферъ.—Который?

Да, который? Тутъ „великая двойственная тайна, два Начала“ (the great double Mysteries, the two Principles). И сердце человѣческое между ними разрывается съ такою скорбью, какой никогда еще не было. „Тогда будетъ великая скорбь, какой не было отъ начала міра донынѣ и не будетъ“.

Это и есть міровая скорбь Байрона. Кто жилъ и не скорбѣлъ? Но такъ, какъ онъ, никто.

„Я помню, какъ однажды, проведя въ обществѣ цѣлый часъ въ необыкновенной веселости, я сказалъ женѣ:

„—Вотъ видишь, Белл, меня называютъ меланхоликомъ, а вѣдь я—веселый“.

„—Нѣтъ, Байронъ,—отвѣчала она,—въ глубинѣ сердца ты печальнѣйшій изъ людей, даже въ тѣ минуты, когда кажешься веселымъ“.

Да, печальнѣйшій изъ людей: такая тѣнь на лицѣ его, какъ будто самъ Свѣтлый пріосѣнилъ его своимъ темнымъ, все-таки темнымъ крыломъ.

Вотъ почему „въ 23 года онъ чувствуетъ себя старикомъ, какъ въ 70 лѣтъ“, и уже сѣдѣть въ 30-ть. Вотъ почему „мечъ протираетъ ножны“.

Вотъ почему единственный страхъ его—страхъ сумасшествия. „Лучше бы я разможилъ себѣ голову десять разъ, чѣмъ сойти съума!“

Вотъ почему только и думаетъ, какъ бы „бѣжать отъ себя“.—„Я просыпаюсь каждое утро въ страшномъ припадкѣ отчаянія и отвращенія ко всему, даже къ тому, что мнѣ вчера еще нравилось“.—„Удивительно, что стоило мнѣ пожелать чего нибудь, какъ я получалъ желаемое—и раскаивался“.—„Все, что угодно, только не дѣйствительность“.—„Для меня одно лекарство—смерть“. И если даже есть безсмертье, онъ его не хочетъ, „почтительнѣе билетъ свой возвращаетъ“: „оставьте вы меня въ покоѣ съ вашимъ безсмертіемъ! Довольно мы страдаемъ въ этой жизни—что за нелѣзность думать о будущей!“.

„Сочти всѣ радости, сочти печали,

Что долженъ быть ты пережить,—

И что бы дни твои ни дали,

Признай, что лучшее—не быть“.

„—Теперь я хочу спать“,—последнія слова его. „Imploга—расе. Молитъ покоя“,—надпись, которую онъ хотѣлъ имѣть на своей могилѣ.

И вотъ почему въ одномъ изъ величайшихъ созданий своихъ, въ поэмѣ „Тьма“ („Darkness“), въ этомъ обратномъ „апокалипсисѣ“, онъ чувствуетъ неизбежный конецъ міра почти съ такою же физической ясностью, какъ чувство-

вали его христіане Апокалипсиса подлиннаго. Но тамъ—огонь, а здѣсь—холодъ. Впрочемъ и холодъ предсказанъ: „тогда охладѣетъ любовь“. Охладѣетъ, потухнетъ солнце міра—любовь, и наступитъ вѣчный холодъ, вѣчная тьма, darkness—конецъ всего.

Все—ничто, „человѣкъ—ничто“, послѣдній выводъ мнимаго малаго разума—„дьявола“. Но если человекъ—ничто, то и разумъ—ничто (ибо въ рационализмѣ весь человекъ есть разумъ). Самоутвержденіе—самоуничтоженіе разума.

„Отецъ лжи“ солгалъ: нѣтъ „двухъ началъ“, есть только одно; нѣтъ Бога и дьявола, есть только дьяволъ:

„Царящая надъ міромъ Злая Сила,

Которая играя все творитъ,

Чтобъ уничтожить все...“

Но если такъ, то за что же борются? И что значить „свобода“?—„Свобода—я ее не знаю и никогда не видѣлъ“.

Свободы нѣтъ, и нѣтъ освобожденія, нѣтъ революци. Революція—такая же ложь, какъ религія. Изъ ничего—ничто, ex nihilo—nihil. Нигилизмъ—последній выводъ демонизма. Человекъ—рабъ дьявола.

Да, воистину, это—„великая скорбь, и если бы не сократились тѣ дни, то не спаслась бы никакая плоть“.

Карлейль шутитъ, рассказываетъ анекдотъ о „подражателѣ Байрона“, старомъ, заржавленномъ вертелѣ, который визжалъ, пугая всѣхъ, нечеловѣческимъ голосомъ: „Я былъ счастливъ, а теперь несчастенъ! несчастенъ! несчастенъ!“.

Гете не шутитъ: Байронъ для него—не старый вертелъ въ потухшемъ очагѣ, а „купина неопалимая, сжигающая Ливанскій кедръ“.

Правъ Гете, а не Карлейль.

„Міровая скорбь“ Байрона—міровая воистину, скорбь всего міра, „всей твари, совокупно стенающей объ избавленіи“. Когда онъ говоритъ: „я несчастенъ“, это „я“—„я“ всего человѣчества. Чайльдъ-Гарольдъ Изгнанный, Кайнъ Проклятый, Мазепа Связанный, Шильонскій Узникъ и Прометей Скванный—это не только самъ Байронъ, но и само человечество—древній Титанъ.

„Міровая скорбь“—міровая ложь. Ложь—въ христіанствѣ, но и преодоленіе лжи—тоже въ христіанствѣ. „Тайна Двухъ“ преодолевается „тайною Трехъ“: равны не Богъ и дьяволъ, а Отецъ и Сынъ; Богъ и дьяволъ раздѣлены, Отецъ и Сынъ соединены въ Духѣ.

Но тайна Трехъ, тайна Троицы такъ и осталась въ христіанствѣ нераскрытою тайною, мертвымъ догматомъ. А мертвый догматъ—ложь. Вотъ откуда ложь и скорбь христіанскаго человечества.

Разумъ противъ чувства и воли, противъ любви говоритъ: я и не я—два. Любовь говоритъ: я и не я, я и Отецъ—одно.

Кто правъ? Мы не знаемъ.

Но „дѣточка Байронъ“, бѣдная, глупенькая дѣточка, подумай не о томъ, чего ты не знаешь, а о томъ, чего ты хочешь.

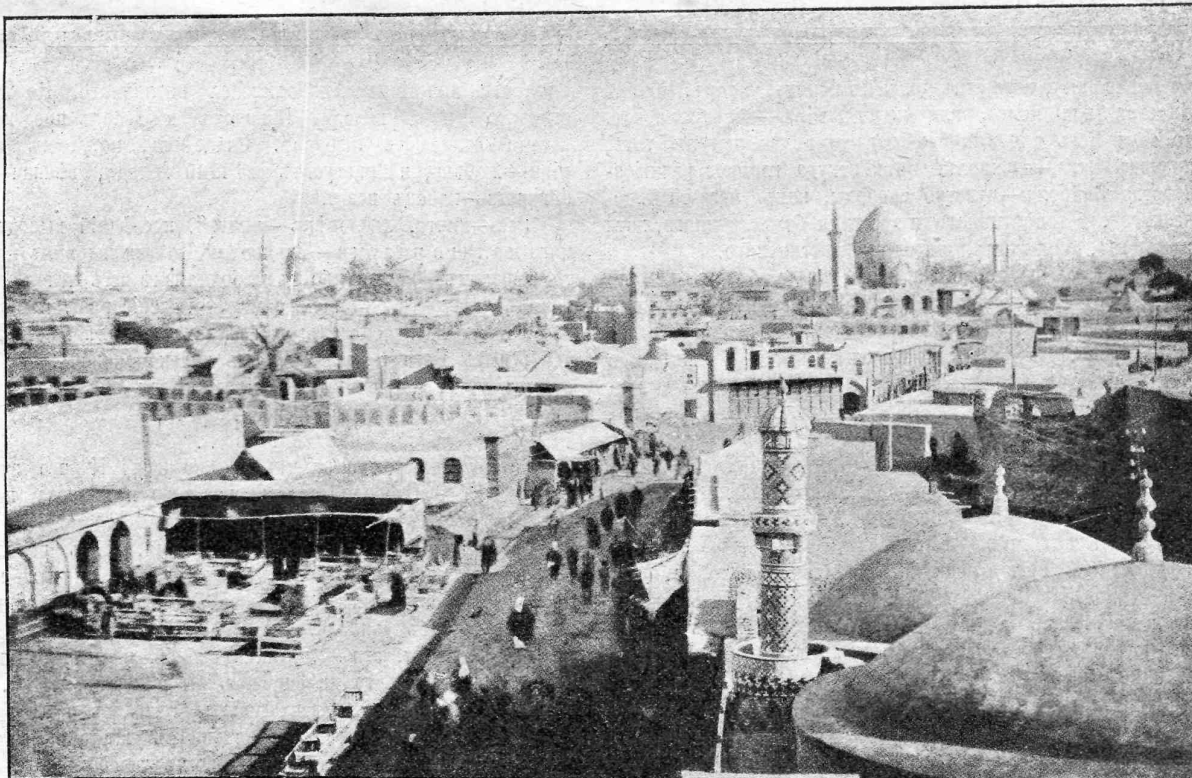
„Пусть не могу я быть любимымъ,—

Я все-жъ хочу любить!“

Хочешь любить—и будетъ любовь, будетъ радость. И если Отецъ есть любовь, то, вернувшись къ любви, ты вернулся къ Отцу, и въ домѣ Отца будетъ радость о блудномъ сынѣ вернувшемся.

И на твоей могилѣ мы напишемъ не „молитъ покоя“, а „будетъ радость“.

Д. Мережковскій.



Багдадъ.

И. З.

БОРЬБА ЗА МЕССОПОТАМИЮ.

(Багдадская жел. дорога.)

«Английскія войска идутъ на Багдадъ». (Изъ телеграммъ)

Со словомъ „Мессопотамія“ у насъ невольно связывается представление о быломъ земномъ раѣ. И дѣйствительно это — земной рай, но только былой. Нѣкоторые ученые предполагаютъ, что легендарный Эдемъ былъ однимъ изъ благодатныхъ уголковъ Мессопотаміи; они еще и теперь стараются найти его мѣстоположеніе.

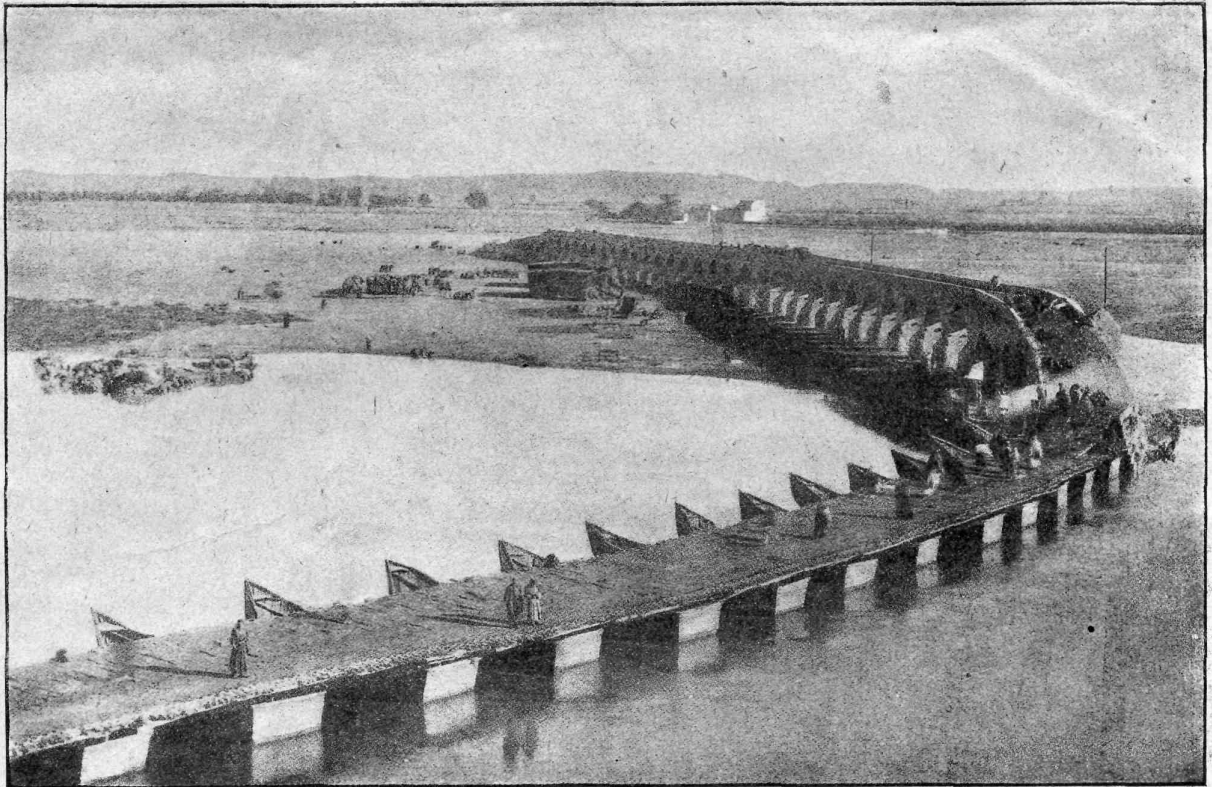
Когда-то тутъ дѣйствительно процвѣтала культура, густое трудолюбивое населеніе дѣятельно занималось земледѣліемъ, торговлей, ремеслами, а на основѣ этого живого и многообразнаго труда складывались великія государства — Ассирія и Вавилонъ. Тигръ и Евфратъ своими ежегодными разливами щедро питали почву, по многочисленнымъ большимъ и малымъ каналамъ жители отводили воду до самыхъ отдаленныхъ уголковъ. На перекресткахъ крупныхъ водныхъ путей были расположены многолюдные города, средоточія торговли и ремеслъ. Религія и наука дѣлали свои первые шаги. Складывалась письменность, зарождались математика, астрономія, первобытный грубый фетишизмъ замѣнялся болѣе высокими

и уточненными религіозными идеями. Создавалось великое искусство, до сихъ поръ поражающее насъ своей мощной красотой.

Но постепенно Мессопотамія становится ареной продолжительныхъ и ожесточенныхъ войнъ. Одни за другими ее завоевывали и опустошали персы, греки, арабы, монголы, турки. Правда, нѣкоторые изъ этихъ народовъ быстро пріобщались туземной культурѣ и даже двигали ее дальше. Таково было напримѣръ господство арабовъ, которые создали въ Мессопотаміи новый центръ, пользовавшійся въ средніе вѣка почти такой же громкой славой, какъ нѣкогда Вавилонъ. Это — Багдадъ, основанный въ 763 г. халифомъ Альмансоромъ, городъ, который въ XI и XII ст. ст. насчитывалъ до двухъ миллионъ жителей.

Въ мусульманскихъ легендахъ особенной, сказочной славой окружено имя багдадскаго халифа изъ персидской династии Абассидовъ — Гарунъ-аль-Рашида (786—809 гг.). Въ „Тысяча и одной ночи“ его дворъ окруженъ баснословной роскошью, а самъ халифъ изображенъ добродѣтельнѣйшимъ другомъ народа.

Подъ власть турокъ Мессопотамія попала сравнительно



Понтонный мостъ въ Мосуль.

недавно, въ 1638 году. Съ этихъ поръ начинается неуклонное паденіе Мессопотаміи. Было ли тутъ причиной дикое и хищническое хозяйничаніе побѣдителей, или скорѣе то, что главные торговые пути и центры отодвинулись далеко на западъ,—во всякомъ случаѣ отъ „былого земного рая“ остались однѣ печальныя развалины. Древнія оросительныя сооруженія, многочисленные каналы разрушены или занесены пескомъ, огромные храмы и дворцы превратились въ груды щебня и осколковъ, и даже краса Востока—Вавилонъ давно стертъ съ лица земли, а на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ когда-то стоялъ, на цѣлыя версты тянутся холмы мусора и кирпичей. Однако Тигръ и Евфратъ, равнодушныя къ судьбамъ людей и царствъ, продолжаютъ ежегодно разливаться, но вода ихъ вмѣсто того, чтобы питать отдаленные каналы, осаждается чрезмѣрно въ однихъ мѣстахъ и оставляетъ безъ всякаго орошенія другія. Такимъ образомъ вмѣсто прежней плодородной и равномѣрно орошенной нивы мы встрѣчаемъ теперь или болота, или пустыни.

Казалось бы, что эта разоренная и печальная страна съ вдесятеро уменьшившимся бѣднымъ населеніемъ ни для кого не можетъ представлять сейчасъ интереса, кромѣ ученыхъ археологовъ, которые отыскиваютъ въ ней остатки старины. Но экономическое и политическое соперничество великихъ державъ, международный капиталъ, ищущій помѣщенія, громадное развитіе металлургической промышленности не знаютъ никакихъ препятствій для достиженія намѣченной цѣли.

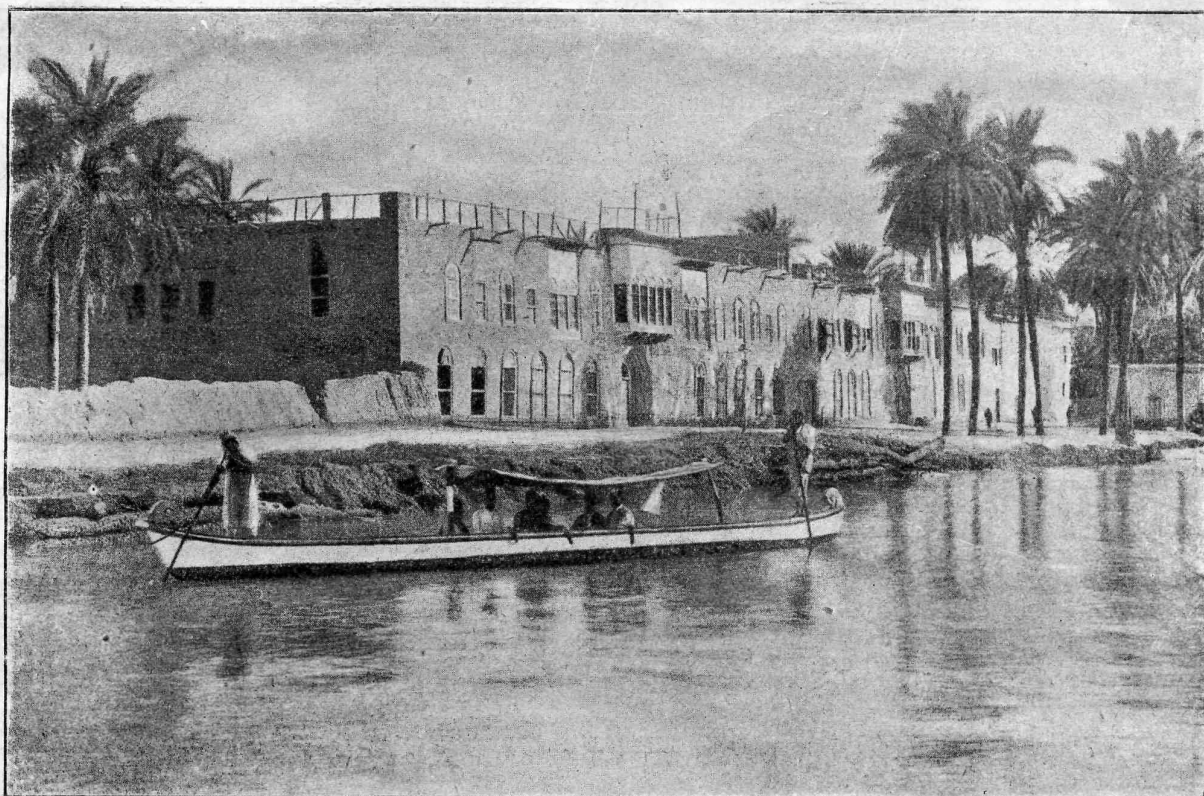
При благоприятныхъ условіяхъ, особенно съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ, Мессопотамія можетъ опять превратиться въ богатую житницу, въ поставщицу хлѣба, риса, табака, сахарныхъ тростниковъ и другихъ „колоніальныхъ товаровъ“,

а Багдадъ можетъ опять сдѣлаться торговымъ посредникомъ между Азіей и Европой.

Для того, чтобы эксплуатировать естественныя богатства Мессопотаміи и ея выгодное положеніе на перепутьѣ между двумя мірами, надо начать съ проведенія желѣзной дороги. Безъ путей сообщенія немисливо развитіе культуры. И естественно, что именно съ этого и началось осуществленіе экономическаго захвата Мессопотаміи. Последнія десятилѣтія характеризуются громаднымъ подъемомъ желѣзнодорожной промышленности. Ежегодно производится колоссальное количество рельсовъ, балокъ, машинъ, размѣстить же ихъ на рынкѣ не всегда легко. Естественно, что „отсталыя страны“ всегда были заботой „безкорыстной“ европейской промышленности. Постройка желѣзной дороги, соединяющей Константинополь съ Персидскимъ заливомъ, не могла не быть крайне заманчивой для европейской желѣзнодорожной промышленности.

Къ этимъ экономическимъ причинамъ присоединяются еще соображенія политическія. Построить желѣзную дорогу въ чужой странѣ—это значитъ часто сдѣлать первый шагъ къ ея завоеванію. По линіи жел. дороги возникаютъ поселенія колонизаторовъ, она открываетъ путь сначала къ экономическому завоеванію, а потомъ, такъ какъ въ связи съ ней появляются и крупныя „жизненные интересы“, она даетъ удобный поводъ и для политическаго протектората.

Такъ зародилась идея и Багдадской жел. дороги. Впервые проектъ ея былъ составленъ нѣмецкимъ инженеромъ В. фонъ Пресселемъ. Прессель придавалъ своему проекту огромное политическое значеніе. По его мысли Багдадская, или, вѣрнѣе, Трансасіатская, жел. дорога должна была связать разрозненныя части Азіатской Турціи—Малую Азію,



Басра.

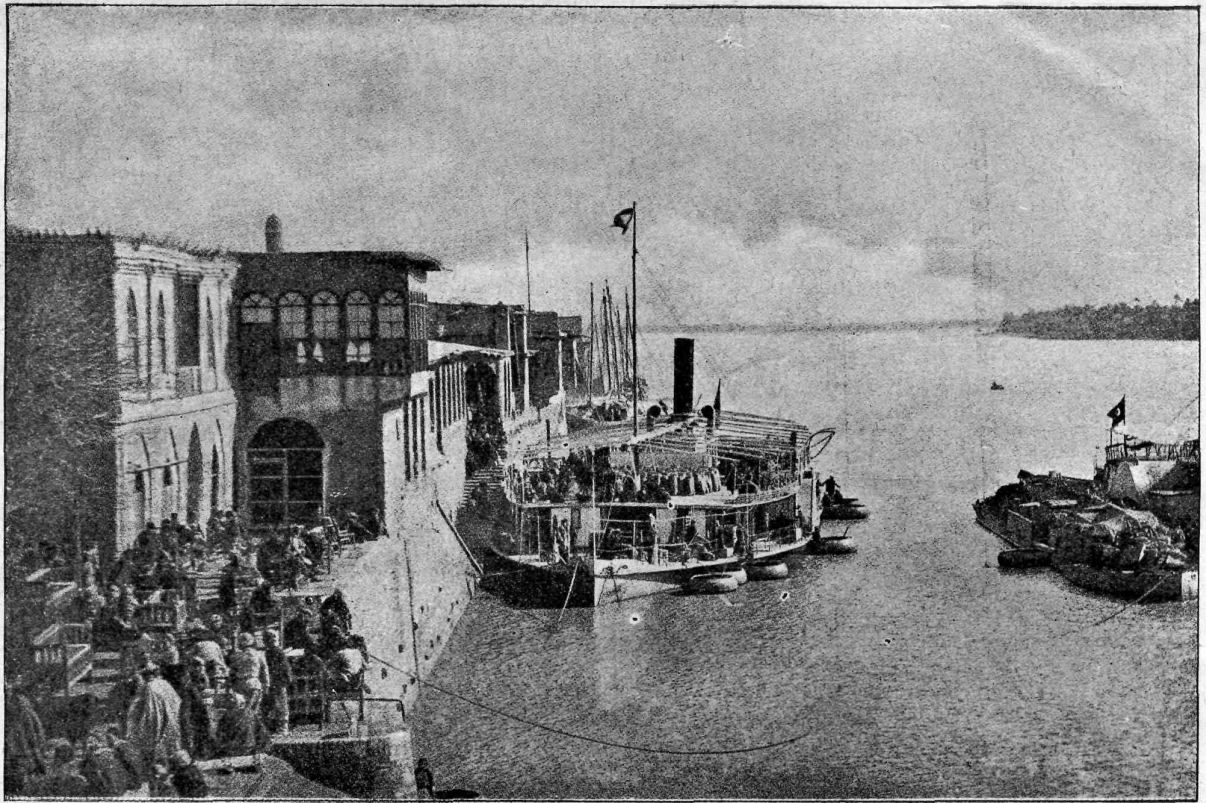
Армению, Сирию, Месопотамию—въ одно цѣлое, облегчить Турціи возможность быстрой мобилизаціи и подвоза войскъ въ случаѣ войны съ Россіей. Экономическое же значеніе дороги заключалось въ томъ, что Месопотамія была бы связана со Средиземнымъ моремъ и Европой, съ одной стороны, и съ Персидскимъ заливомъ и Индіей,—съ другой. Благодаря этому она получила бы легкій доступъ на міровой рынокъ и затѣмъ могла бы успѣшно конкурировать съ Суэцкимъ каналомъ въ смыслѣ торговаго посредничества между Европой и Индіей.

➤ Пресселю удалось выстроить только первый участокъ дороги отъ Хайдаръ-паша (противъ Константинополя) до Ишида. Затѣмъ дѣло остановилось до 1888 года, когда дальнѣйшую постройку линіи взяло на себя „Нѣмецкое общество Анатолическихъ жел. дорогъ“, во главѣ котораго стоялъ „Deutsche Bank“. Багдадская жел. дорога превратилась въ нѣмецкое предпріятіе. Германія она открывала обширнѣшія перспективы. Это былъ ударъ, направленный одновременно противъ Россіи, Англіи и Франціи. Россія она угрожала тѣмъ, что увеличивала мощь Турціи въ Малой Азіи, Англіи—тѣмъ, что уподоблялась своего рода стальному клину, направленному противъ Индіи; вмѣстѣ съ тѣмъ она представляла серьезную угрозу „жизненнымъ интересамъ“ Франціи въ Сириі. Особенно большую опасность представляла она для Англіи. Сколько силъ было потрачено на то, чтобы обезопасить всѣ пути въ Индію отъ поползновеній другихъ державъ! Съ удивительной методичностью и упорствомъ Англія овладѣла Гибралтаромъ, Мальтой, Кипромъ, Суэцкимъ каналомъ, Аденомъ—и все это съ цѣлью закрыть всѣ пути въ Индію. И вдругъ опасность появляется съ совершенно другой стороны.

Какъ это ни странно, но Англія не придавала ей сначала большого значенія. Она считала отчасти даже выгодной для себя Багдадскую линію въ томъ видѣ, какъ она была намѣчена въ проектѣ Пресселя. Вѣдь она укрѣпляла позицію Турціи противъ Россіи, которую Англія считала наиболѣе опаснымъ противникомъ. Но въ 1893 году, подъ сильнымъ давленіемъ Россіи, направленіе дороги мѣняется, отодвигается къ югу. Угрозы для Кавказа больше нѣтъ.

Дипломатическая побѣда Россіи сразу измѣнила отношеніе Англіи къ Багдадской жел. дорогѣ. Вмѣсто прежняго безразличнаго оно стало рѣшительно враждебнымъ. Надвигалась серьезная опасность для Индіи. И для Франціи новая линія представлялась далеко не выгодной. По мысли ея строителей, она должна была отвлечь товарное движеніе изъ Малой Азіи на Константинополь—Вѣну—Берлинъ вмѣсто прежняго направленія черезъ Смирну, торговля которой находилась въ рукахъ французовъ и англичанъ. Своевременнымъ и единодушнымъ вмѣшательствомъ Англія и Франція смогли бы вѣроятно, если не окончательно, то хотя бы на долгое время приостановить постройку дороги. Но въ 90-хъ годахъ Англія и Франція были еще очень далеки отъ мысли о соглашеніи и совмѣстной политикѣ. То была, напротивъ, пора сильнѣйшихъ тревъ между ними, которыя моментами доводили ихъ почти до войны. Достаточно вспомнить инцидентъ изъ-за Фашоды. Германія очень умѣло воспользовалась раздорами Франціи и Англіи для того, чтобы проникнуть еще дальше, вглубь Азіи. Въ 1899 году, когда началась война съ бурами и все вниманіе Англіи было ствлечено къ африканскимъ дѣламъ, нѣмцы получили отъ турецкаго правительства долгожданную концессию на проведеніе линіи до Багдада.

Было очевидно, что необходимымъ условіемъ успѣшной



Англійскій пароходъ на Тигрь.

борьбы съ провикновеніемъ германскаго вліянія въ Мессопотамію является энергичное и, главное, согласованное выступленіе Россіи, Франціи и Англійи. Правда, Россія, съ тѣхъ поръ какъ, вмѣсто восточнаго направленія линіи къ Кавказу, было выбрано южное, не была непосредственно заинтересована противъ нея, но зато она была косвенно заинтересована въ томъ, чтобы французскій капиталъ не отливала на постройку этой линіи и не создавала такимъ образомъ неблагоприятной обстановки для котировки русскихъ бумагъ на парижской биржѣ. Какъ бы тамъ ни было, но съ начала девятисотыхъ годовъ налаживается „сердечное согласіе“ Англійи, Франціи и Россіи между прочимъ и по отношенію къ Багдадской дорогѣ. Вышнимъ выраженіемъ этого согласія явился удачный шахматный ходъ Англійи противъ Германіи. Въ 1901 году, подъ предлогомъ охраны автономіи Кувейта отъ Турціи, Англія объявила протекторатъ надъ этимъ городомъ и такимъ образомъ приобрѣла опорный пунктъ у самаго выхода проектированной Багдадской линіи къ Персидскому заливу.

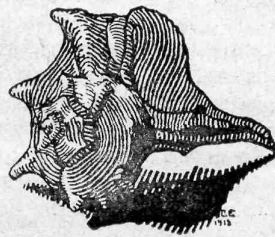
Подъ вліяніемъ совмѣстныхъ выступленій трехъ великихъ державъ дальнѣйшая постройка линіи нѣсколько застопорилась, однако не приостановилась окончательно. Хотя и ме-

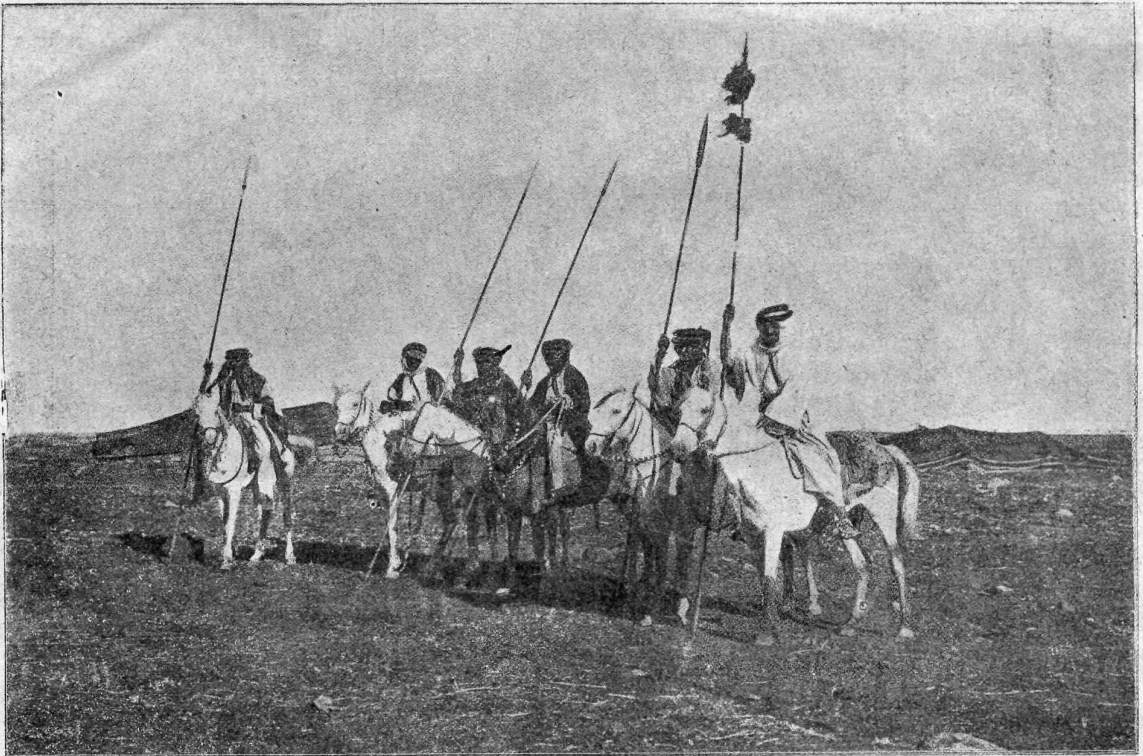
ленно, отстраивались отдѣльные ея участки, одинъ за другимъ. Въ 1911 году Германія приходитъ къ окончательному соглашенію съ Турціей относительно проведенія линіи до Багдада. Постройка ея должна быть закончена къ 1917 году. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлается серьезная уступка Англійи—Германія отказывается отъ исключительнаго права постройки участка линіи отъ Багдада до Персидскаго залива.

Теперь, съ началомъ великой европейской войны, положеніе дѣлъ существенно измѣнилось. Турція окончательно связала свою судьбу съ Германіей. Временно она вполне подпала подъ вліяніе послѣдней, превратилась почти въ ея вассала. Тѣмъ неопредѣленнѣй становится и судьба Багдадской дороги. Кому она достанется въ концѣ концовъ, чьимъ интересамъ она будетъ служить въ будущемъ—это зависитъ сейчасъ почти исключительно отъ исхода борьбы двойственнаго союза съ тройственнымъ согласіемъ.

Такъ древній Эдемъ и царство „Тысячи и одной ночи“ постепенно потеряли свою легендарную обаятельность и превратились въ арену политической и экономической борьбы европейскихъ державъ.

И. З.





Бедуины.

Объ искусствахъ и литературѣ.

Вѣсти и мнѣнія.

Вѣнокъ мертвымъ и живымъ.

(«King Albert's Book».)

Книга, изданная газетой «Daily Telegraph», — анкета о королѣ Альбертѣ и о его народѣ. Слово „анкета“ — конечно прозаическое слово. Въ немъ есть нѣчто спокойно-дѣловое, чуждое живому огню восторговъ, преклоненій и овацій. На анкету не отвѣчаютъ взрывомъ чувствъ и громомъ рукоплесканій, и если это все-таки случилось, то лишь потому, что дѣйствительно произошло безпримѣрное въ исторіи. Это безпримѣрное пожалуй лучше другихъ объяснилъ въ своемъ отвѣтѣ философъ Анри Бергсонъ.

„Я долго училъ тому, — пишетъ онъ, — что исторія есть школа безнравственности. Послѣ примѣра, только что показаннаго мѣру Бельгіей, я этого больше не скажу... Маленькій народъ внезапно очутился предъ лицомъ одной изъ огромнѣйшихъ армій. У него попросту просили разрѣшенія пройти. За это обѣщали вернуть ему нетронутую его землю, его независимость. Исполнили ли бы это? Не знаю. Но маленькій народъ могъ свободно этому повѣрить. И если бы онъ заявилъ, что уступаетъ силѣ, что принимаетъ неизбежное, мы бы пожалѣли его, но не осмѣлились бы его порицать. Но нѣтъ! Онъ противопоставилъ тому, что казалось непреодолимымъ. Онъ заранее принесъ въ жертву все, что имѣлъ, — свои города и деревни, свое богатство и свою жизнь. Все отдалъ онъ идеѣ, тому героическому представленію, которое онъ создалъ себѣ о чести. Слава ему! Слава его королю!.. Актъ,

подобный этому, искупаетъ самыя большія мерзости человѣчества. Чувствуешь себя гордымъ, что ты — человѣкъ. Позволено ли будетъ профессору философіи прибавить, что огниѣ можетъ гордиться и философъ? Король Альбертъ предавался изученію философіи. Не ей ли онъ обязанъ своей душевной силой и своимъ великодушнымъ героизмомъ? Я хотѣлъ бы такъ думать, потому что тогда философія кое-что приобрѣла бы отъ его славы. На протяженіи исторіи два раза она блистала на тронѣ, и оба раза она сочеталась съ величайшей добродѣтелью. Она вдохновляла нѣкогда стоицизмъ Марка Аврелія. Нынѣ она улыбается съ любовью простому и великому героизму короля Альберта“.

Поль Эрвье пишетъ:

„Быль однажды король и королева... Такъ будетъ начинаться одна изъ феинныхъ сказокъ, самая волнующая и самая назидательная“...

Эмиль Верхарнъ, обращаясь непосредственно къ королю Альберту, говоритъ:

„Со времени прекрасныхъ дней Льежа первая истинная радость, которую мнѣ дано испытать, это — та, что мнѣ предложили написать что-нибудь въ честь Васъ“...

Съ такимъ же чувствомъ преклоненія предъ Альбертомъ и его страной, которая сравнивается съ Тормопилами, отвѣтили и всѣ остальные 240 опрошенныхъ „Daily Telegraph“ ученыхъ, писателей, композиторовъ, художниковъ и политическихъ дѣятелей — изъ всѣхъ анкетъ, когда либо произведенныхъ, эта — наименѣе разнорѣчивая. Имена тутъ самыя разнообразныя и самыя громкія. Представлены всѣ страны, за исключеніемъ Германіи и Австріи конечно. Изъ русскихъ въ книгѣ приняты участіе Д. С. Мережковскій, А. И. Купринъ, М. Туганъ-Барановскій, Д. Анучинъ и проф. П. Ваногрардовъ. Художники на предложеніе выска-



Бедуинки.

заться по поводу Бельгии отвѣтили 26 картинами и рисунками, причемъ нѣкоторые изъ нихъ уже отражаютъ событія. Таковы картины Бракмина „Лувэнскій соборъ“; „Dies irae“ (американца М. Пэррича и красочная поэма Ривьера „Св. Георгій и драконъ“). Композиторы Клодъ Дебюсси, П. Масканьи, А. Мессаже, Г. Коуэнъ и др.) отвѣтили гимнами, героическими берсезами и маршами.

Издана книга изящно и красиво (за исключеніемъ обложки, которая больше подходитъ для альбома открытыхъ писемъ или марокъ) на отличной бумагѣ, дѣлающей книгу легкой, какъ саргел. Единственно непріятное находится въ самомъ текстѣ этой сердечной и волнующей книги—дѣловито-коммерческое примѣчаніе къ стихотворенію нобелевскаго лауреата Р. Киплинга о томъ, что нельзя перепечатывать его стихотвореніе въ Соед. Штатахъ Америки безъ разрѣшенія автора.

В. Ирецкій.

„Два брата Лермонтова“*).

Въ театрѣ бывають чудеса. Можно открыть теперь пьесу Лермонтова, которая никогда не исполнялась на сценѣ. Конечно такіа чудеса случаются только съ Лермонтовымъ или съ Пушкинымъ,—все пьесы Виктора Крылова и Рышкова въ свое время были показаны публикѣ. Поставленная Литературнымъ фондомъ «новая» пьеса Лермонтова «Два брата» кажется дѣйствительно новой и могла бы служить образцомъ

современному театру. Сжатая интрига, не осложненная ни единой лишней подробностью, столкновение яркихъ страстей и рѣзко очерченныхъ характеровъ, бурная стремительность дѣйствія, всецѣло захватывающаго зрителя,—все это является прогрессомъ по сравненію съ с.временнымъ репертуаромъ. Это—подлинный театръ, театръ живыхъ чувствъ. Для исполненія такой драмы недостаточно «характерности» или «естественности», нужно настоящее вдохновеніе и артистическій темпераментъ.

Блестящее сочетаніе комизма и драматической силы далъ г. Горинъ-Горяиновъ въ роли князя Лиговскаго. Мягкій, будто безкостный, „добрый малый“, угждающій женѣ и всѣмъ готовый сказать пріятное, забавно милъ съ перваго своего появленія. Его томное помахиваніе ручками, скользящая походочка, немного визгливый голосокъ и постоянное вздергиваніе монокла кажутся чѣмъ-то знакомымъ, гдѣ-то видѣннымъ,—такъ живо переданы въ этихъ внѣшнихъ чертахъ душевныя свойства подобныхъ свѣтскихъ героевъ. Онъ любитъ жену, потому что жену надо любить,—это такъ принято,—и мститъ ей за воображаемую измѣну тоже потому, что это такъ принято—„ваша честь—моя честь“.

Когда старикъ Радинъ рассказываетъ о бывшей любви Юрія къ княгинѣ Вѣрѣ, г. Горинъ-Горяиновъ становится почти страшенъ въ своемъ комизмѣ. Монокль выпадаетъ у него изъ глаза, онъ хватается за голову и мечется по комнатѣ, взерошенный, растерянный, смѣшной; но въ этомъ смѣшномъ звѣрькѣ уже чувствуется будущій тюремщикъ. Онъ все время коичень, но чувствуется, что именно этотъ комизмъ и доведетъ несчастную Вѣру до послѣдняго отчаянія. Смѣшной и жалкій князь, обиженный въ своемъ мужскомъ

* Спектакль Литературнаго фонда (10 января 1915 г.) въ Маринскомъ театрѣ



Москва.

самолюбия, страшень именно своей ничтожностью. Г. Горинь-Горяиновъ показалъ себя первокласснымъ, вдохновеннымъ артистомъ, раскрывъ трагическое въ ничтожномъ и страшное въ смѣшномъ.

Красоту женской слабости стильно передала изящная г-жа Коваленская. Она губитъ другихъ и гибнетъ сама, потому что въ любви не умѣетъ быть сильной. Красивъ и пылокъ г. Юрьевъ въ роли влюбленнаго Юрія Радица. Его необычайное искусство носить костюмъ и благородный романтизмъ его четки придали живописность и стильность лермонтовскому образу. Трогательнъ г. Давыдовъ въ роли умирающаго старика-отца.

Изъ декораций г. Головина наиболее удаченъ полутемный залъ съ хорами, колоннами и прелестной, таинственной винтовой лѣстницей, по которой Вѣра спускается на свиданіе къ Юрію. Простая, не загроможденная деталями, постановка г. Мейерхольда вполне въ стилѣ драмы. Театральная публика должна быть благодарна Литературному фонду, такъ красиво показавшему на сценѣ чудесное юношеское твореніе Лермонтова.

Насколько извѣстно, дирекція воспользовалась идеей Литературнаго фонда и включила „Два брата“ въ свой репертуаръ.

Ю. Слонимская.

ХРОНИКА.

Въ непродолжительномъ времени однимъ петроградскимъ книгоиздательствомъ будетъ изданъ переводъ пяти одноактныхъ пьесъ Мариво. Къ книгѣ будутъ приложены двѣ статьи Р. М. Сенявина: «Мариво, какъ романистъ» и «Мариво и французская комедія XVIII в.».

Въ Михайловскомъ театрѣ въ ближайшее время будетъ поставлена романтическая трагедія Виктора Гюго «Рюи-Блязъ». Заглавную роль исполнитъ Ю. М. Юрьевъ. Режиссеръ—М. Е. Дарскій.

«Два брата» Лермонтова, шедшіе 10-го января въ Маріинскомъ театрѣ, включены въ репертуаръ Александринскаго театра.

Въ изданіи К. Ф. Некрасова вышелъ переводъ извѣстнаго романа Бенжаменъ Констанъ «Адольфъ». Романъ, появившійся ровно сто лѣтъ назадъ въ Лондонѣ, куда авторъ бѣжалъ послѣ «Ста дней», является однимъ изъ первыхъ психологическихъ романовъ. Въ «Адольфѣ» много автобіографическаго. Б. Констанъ описалъ въ немъ свои отношенія къ знаменитой г-жѣ де Сталь.

Какъ извѣстно, въ прошломъ году правительствомъ былъ приобретень музей псковскаго коллекціонера Ф. М. Плюшкина. Въ отчетѣ о дѣятельности нашей Академіи Наукъ за 1914 годъ находимъ описаніе той части музея, которая заключаетъ въ себѣ рукописи, грамоты, акты и книги церковной печати. Здѣсь имѣется 300 рукописей XV—XIX вв., около 200 печатныхъ и гравированныхъ изданій XVI—XIX вв., значительное число патентовъ и дипломовъ (на пергаментѣ), цѣлый рядъ грамотъ, много писемъ и наконецъ интересное собраніе образцовъ русскихъ ассигнацій. Болѣе половины книгъ Плюшкинской коллекціи въ библиотекѣ Академіи Наукъ не имѣлось.

Въ Швейцаріи скончался извѣстный польскій беллетристъ Зыгмунтъ Милковскій, подписывавшійся Теодоръ Ежъ. Съ 1863 года покойный долженъ былъ жить внѣ предѣловъ Россіи. Изъ богатаго литературнаго наслѣдства Ежа надо отмѣтить слѣдующія его произведенія: «Василь Голубъ» (58 г.), «Сандаръ Ковачъ», «Ускоки», «Кровавая исторія», «Исторія о прапрадѣдушкѣ и праправнучкѣ» и др. Покойному было 92 года.

Въ «Revue de Paris» историкъ Эрнстъ Лависсъ печатаетъ статью подъ названіемъ «Настроение, которое необходимо». Въ этой статьѣ Лависсъ предостерегаетъ своихъ соотечественниковъ отъ легкомысленнаго отношенія къ врагу.

96